Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием mademoiselle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.

– Allez!.. В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапеций там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки.

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше. Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов – все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им…

– Allez!..

А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции, у ног девочки, висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и… хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. … Пространство внизу, под ногами, кажется бездной. – Allez!..

Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху «живой пирамиды» из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змей, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в «икарийских играх». Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги… И везде те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:

– Allez!..

Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. «Публика волнуется и начинает расходиться, – говорили вокруг нее, – идите и покажитесь публике!..» Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку «грациозной наездницы», но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа, к публике.

– Allez!..

В этот сезон в цирке «работал» в качестве гастролера клоун Менотти, – не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками, – а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и так далее и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров «разбитым» и с приподнятой горечью говорил про себя: «Да! Мы – шуты, мы должны смешить сытую публику!» На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты, или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно-покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк, на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало-влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку.

Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался. Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась – частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:

– Allez!.. И она пошла… Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога… Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.

В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла брильянты и медали Менотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольдкрем и – что всего важнее – верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие.

Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших «воздушные полеты». Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконец однажды, ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:

– Allez!..

Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: «К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с».Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

 Менотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон запах духов, вина, сигары, пудры, – все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка…

Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней, Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:

– Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда! Она встала, задыхаясь, и зашептала:

– А-а! В таком случае… в таком случае…

Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы. Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.

Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса… Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:

– Allez!.